

А.С. УСАЧЕВ

"Долгий XVI век" российской историографии*

Богатое событиями XX столетие отмечено целым рядом переломов в отечественной исторической науке, сменой познавательных стереотипов в русской историографии. Историко-юридическое прочтение русской истории, сложившееся в XIX в., сменил методологический прорыв начала века, связанный с трудами А. Лаппо-Данилевского, Н. Кареева, Л. Карсавина и др. В 1920–30-е гг. начался период господства советской интерпретации марксистской парадигмы, монополия которой была подорвана только в 1990-х гг. с установлением методологического плюрализма. Отмечая очевидные сущностные изменения в каждый из этих периодов, нельзя не задаться вопросом: *все ли стороны историографического процесса были подвержены радикальным изменениям?*

Несколько ранее, анализируя основополагающие труды по русской истории XIX–XX вв., их генетическую связь, я пришел к выводу о существовании *Большого времени* российской историографии (если следовать терминологии Ф. Броделя, ее собственного *longue durée*), на протяжении которого русские историки, независимо от их теоретико-методологической (а порой и политической) принадлежности, сохраняли в своих исследованиях некое общее тематическое и проблемное "ядро", присутствие которого оказывается инвариантным для самых различных исторических эпох [Усачев, 2002]. Мне представляется, что это "ядро" может быть выявлено и изучено путем фиксации в исторических текстах, сравнительного анализа и исторической интерпретации ряда мифологем, особым образом структурирующих историографическое поле, – *историографических констант*. К их числу относятся специфические характеристики "сквозных" явлений русской истории и историографии (образ носителя верховной власти в средневековой Руси, проблема государства и т.д.), изучение которых характерно для трудов крупнейших историков разных направлений в самые различные периоды развития отечественной историографии.

Выявление историографических констант ориентирует на использование при изучении конкретного историографического материала методики *case study* и способствует решению целого ряда научных задач. В океане накопленных в историографии интерпретаций выявленная константа служит для историка своего рода нитью Ариадны при сопоставлении качественно различных историографических традиций, исполь-

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 06-04-00497а) и гранта Президента РФ для поддержки молодых ученых МК-6546.2006.6.

Усачев Андрей Сергеевич – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела книговедения Российской государственной библиотеки, старший преподаватель кафедры истории и теории исторической науки Российского государственного гуманитарного университета.

зуется для сравнения их познавательных возможностей посредством анализа суммы исторически определенных контекстов, в которые помещается изучение одного и того же явления прошлого. В ходе работы с историографической константой высвечивается все богатство интерпретаций данного явления на протяжении десятилетий (или даже столетий) его изучения в исторической науке [Усачев, 2003, с. 110–111].

Обращаясь к той или иной историографической константе, исследователь получает возможность заглянуть вглубь *Большого времени* российской историографии и выявить его основные черты. Ранее мною была прослежена связь между трудами историков XX в. и идеями С. Соловьева и В. Ключевского, которые во многом определили развитие историографии в этот период. Это, в свою очередь, побуждает поставить вопрос о том, стоит ли начало историографического *longue durée* связывать с именами только этих историков или его корни следует искать еще глубже? Можно поставить и другой, гораздо более масштабный и побуждающий к глубоким размышлениям вопрос: а когда же, собственно, началось *Большое время* российской историографии?

Преемственность "Киев–Владимир–Москва": историографическая ретроспектива

Специально рассмотренный мной ранее образ царя в средневековой Руси (как и некоторые другие явления русской истории и историографии), несомненно, принадлежит к константам российской историографии [Усачев, 2001; 2002; 2003]. Однако это явление, как правило, соотносится в трудах историков с носителем верховной власти не ранее XVI в., тем самым хронологически ограничивая простор интерпретаций. Для того чтобы обратиться к поиску истоков историографического *longue durée*, необходимо избрать иную, более раннюю константу, которая дала бы возможность проведения анализа российской историографии на максимальной хронологической глубине. К числу констант отечественной историографии, удовлетворяющих этому требованию, относится широко представленная в трудах крупнейших русских историков модель эволюции древнего государственного ядра Руси/России в форме исторической преемственности ряда столичных городов: "Киев–Владимир–Москва". Эта концепция внешне напоминает средневековую мифологему преемственности сакральной имперской власти, основанную на христианской интерпретации видения ветхозаветного пророка Даниила [Ле Гофф, 1992, с. 161–162] и ее реминисценции в древнерусской исторической мысли.

Мнение о преемстве Москвы по отношению к Киеву и Владимиру относится к числу наиболее ярких представлений исторической мысли России, господствовавших многие века. Важнейшая его составляющая – утверждение о политическом могуществе Владимиро-Суздальского княжества, которое рассматривалось как сильнейшее княжество Руси эпохи распада единого Древнерусского государства. Это, в свою очередь, давало возможность придать Северо-Восточной Руси (с центром во Владимире-на-Клязьме, а позднее в Москве) черты политической преемницы Киевского государства. Подобный взгляд широко представлен в обобщающих трудах по русской истории. Для того чтобы определить время появления данной концепции в русской исторической мысли, начну рассмотрение ее прошлого в *хронологически обратном* порядке, начиная с трудов советских исследователей последних десятилетий XX в.

В обобщающей монографии 1980-х гг., посвященной судьбам древнерусского наследия в Восточной Европе эпохи Средневековья и Нового времени, представлен следующий взгляд: "Древняя Русь стала исторической колыбелью трех братских народов – великорусского, украинского и белорусского... Русское централизованное государство возникло как национальное, ибо его основное этническое ядро, преобладающее в экономическом, политическом и культурном отношениях, составляла русская (великорусская) народность, генетически восходящая к народности древнерусской, сложившейся на восточнославянской основе еще в эпоху Древней Руси. Русское централизованное государство выступает, таким образом, как преемник Древнерусского" [Пашуто, Флоря, Хорошкевич, 1982, с. 5–6].

Взгляд на Киевскую Русь IX–XII вв. как на "общую колыбель трех восточнославянских народов (русских, украинцев и белорусов)" отличал также крупнейшие труды по русской истории всего послевоенного периода, интерпретировавших сущность этого государства в терминах "раннефеодальный" период и "зрелый феодализм" [Очерки... ч. 1, 1953, с. 878; Рыбаков, 1993, с. 5]. В них подчеркивалась преемственность Киевской и Московской Руси, основание которой усматривали в политическом могуществе властителей Северо-Восточной Руси (прежде всего, Андрея Боголюбского и Всеволода Юрьевича), побуждавших южнорусских князей "ходить в своей воле" [Очерки... ч. 1, 1953, с. 328; Рыбаков, 1993, с. 546]. Отмечая негативное влияние монгольского ига на судьбы русских земель, историки вместе с тем указывали, что оно было неспособно остановить поступательное движение истории. Его последствия видели в процессе усиления в конце XIII–XIV в. Московского княжества, правителям которого к началу XVI в. удалось объединить русские земли в рамках Русского централизованного государства, чье появление, согласно интерпретации русской истории с формационной позиции, было закономерно для периода позднего феодализма и раннего Нового времени [Очерки... ч. 2, 1953, с. 132].

Не чуждо было изображение Москвы как преемницы Киева и Владимира и патриарху советской историографии М. Покровскому, который в своей книге "Русская история в самом сжатом очерке" (1920–1923) поместил эту схему в историко-географический контекст. Переселение славянского населения с юга Руси историк относил к числу важнейших факторов в процессе усиления Северо-Восточной Руси, а Владимир-на-Клязьме определял как "самый крупный тогда (в XII–XIII вв. – А.У.) из городов феодальной России" [Покровский, 1967, с. 41].

Мнение о наследовании Владимиром политической роли Киева нельзя отнести к числу специфических представлений советской историографии. Как показывает анализ трудов дореволюционных историков, данная идея получила распространение в российском историографическом пространстве гораздо раньше. Так, историк конца XIX–начала XX в. С. Платонов, отмечая в своем курсе лекций по русской истории (1917) преемственность политической власти над Русью по оси "Киев–Владимир", подчеркивал роль колонизации в превращении Владимиро-Суздальского княжества в XII в. в "сильнейшее среди других старых" русских княжеств. Вместе с тем он полагал, что преемственность не была абсолютной и в Северо-Восточной Руси "слагался иной, чем на юге, общественный строй". Так, несмотря на сопротивление знати Ростова и Суздаля, в этом регионе "власть князя стала шире и полнее" [Платонов, 1997, с. 61]. Как видно, он сопоставлял политическую историю Юга и Северо-Востока Руси, одновременно противопоставляя их в социально-политическом отношении.

Весьма рельефно эти идеи представлены также в "Курсе лекций" (первое издание – 1904–1922) наиболее видного русского историка рубежа XIX–начала XX в. Ключевского, который, подводя итоги рассмотрения отечественной истории XII в., отметил, что в этот период появляется "новая политическая сила; Русь днепровская сменяется Русью верхневолжской". Как указал историк, "эта двоякая перемена, территориальная и политическая, создает в верхневолжской Руси совсем иной экономический и политический быт, непохожий на киевский" [Ключевский, 1993, с. 239]. Таким образом, представление о трансформации Руси "городовой", "торговой", "днепровской" в Русь "удельно-княжескую", "вольно-земледельческую", "верхневолжскую" имеет вполне отчетливый географический оттенок. Это обуславливалось последовательно проведенным Ключевским взглядом на переселенческую подоплеку русской истории, что сообщало колонизации статус ее "основного факта". Массовый "отлив" славянского населения на Северо-Восток, вызванный усобицами и опустошительными половецкими набегами, привел к тому, что сменилась "историческая сцена" – Южная Русь стала уступать Северо-Восточной как по экономической, так и по политической мощи [Ключевский, 1993, с. 239–258].

Истоки приведенных суждений восходят к крупнейшему в отечественной историографии обобщающему труду по русской истории – "Истории России с древнейших

времен" (первое издание 1851–1879) Соловьева. Призывая "разъяснять явления русской жизни из нее самой", историк особое внимание обратил на факторы и этапы трансформации "родового" быта в "государственный". Эту, основанную на философии истории Г.-В.-Ф. Гегеля, идею о противоречии "нового" и "старого" укладов жизни Соловьев наполнил конкретным историческим содержанием. Как он полагал, утверждение нового социально-политического порядка вещей на южнорусских землях, сохранивших богатые традиции "старого" быта, было делом весьма непростым. Именно поэтому князь Андрей Боголюбский, с которым историк связывает начало утверждения "крепких основ... государственного быта", и решил порвать с Югом. Это позволило Соловьеву расценить нежелание Андрея покинуть далекий Владимир ради стольного отцовского Киева как настоящий переворот в политическом быте Древней Руси. Отказ владимирского князя привел к ослаблению Киева, постепенно все более попадавшего в зависимость от его власти [Соловьев, 1988, с. 514].

Важно отметить, что, согласно мнению Соловьева, именно благодаря тому, что Андрей не пожелал ехать в Киев с его старым родовым укладом, он и сумел в малонаселенной Суздальской земле "изменять родовые отношения... в государственные" [Соловьев, 1988, с. 515]. Возможность проведения подобных мероприятий обуславливалась тем, что в отличие от Юга Руси на ее Севере "была почва новая, девственная, на которой новый порядок вещей мог приняться гораздо легче и, точно, принят". Отмечая ослабление Южной Руси вследствие княжеских усобиц и половецких набегов, Соловьев склонен был считать, что вместе с колонистами с Юга Руси на ее Северо-Восток *уходила сама история*. Заклучая обзор истории русской истории домонгольского периода, историк не оставляет у читателя никаких сомнений в характере исторической преемственности в истории России: "...главная сцена действия (русской истории. – А.У.) перенеслась на Северо-Восток, далеко от великого водного пути, соединявшего Северо-Западную Европу с Юго-Восточной; Русь уходила все далее и далее в глубь Северо-Востока, чтоб там, в уединении от всех посторонних влияний, выработать для себя крепкие основы быта... историческая жизнь отливает от нее (Южной Руси. – А.У.) к северу, она лишается материальной силы, которая переходит к области Волжской, лишается политического значения, материального благосостояния; честь и краса ее, старший стольный город всей Руси – Киев презрен, покинут старейшими и сильнейшими князьями, несколько раз разграблен" [Соловьев, 1988, с. 647–648]. Таким образом, под пером Соловьева вектор развития русской истории (переход от "родового быта" к "государственному") обрел вполне ясные географические очертания в рамках преемственности "Киев–Владимир".

В начале XIX в. Владимир как политический преемник Киева отчетливо представлен и в "Истории государства Российского" (первое издание – 1816–1829) Н. Карамзина. Сообщая о правлении Андрея Боголюбского в Суздальской земле, историк отмечает, что "в то время как древняя столица наша клонится к совершенному падению, возникает новая". Большое влияние на историка оказывало восходящее к просветительской философии представление о способности человека к разумному устройению общественной и государственной жизни, которая на российской почве обрела вполне отчетливые монархические черты. Так, Карамзин считал важнейшей исторической заслугой Андрея Боголюбского то, что он "приготовил Россию северо-восточную быть, так сказать, истинным сердцем государства нашего" [Карамзин, 1991⁶, т. 2–3, с. 171]. Описывая правление первых русских князей, он обращал внимание читателей на разорение Южной и Западной Руси. Этот кризис связывает две исторические эпохи. "В то время, когда она (Русь. – А.У.) достигла высшей степени бедствия, видя лучшие свои области отторженные Литвой, все другие истерзанные моголами, – в то самое время началось ее государственное возрождение, и в городке, дотоле маловажном, созрела мысль благодетельного единодержавия, открылась мужественная воля прервать цепи ханские, изготовились средства независимости и величия государственного". Это, в свою очередь, намечало вполне определенное направление развития русской истории. Москва, "со времен Иоанновых (Калиты. – А.У.) сделавшись истинной

главой России", была "научена опытом Киева и Владимира", и страна под ее руководством "двигалась к государственной целостности" [Карамзин, т. 4, 1992, с. 129].

Представление об исторической преемственности содержат и труды XVIII в., в частности "История Российская" М. Щербатова (1774). Конструируя ход размышлений Андрея Боголюбского и его последующие действия, историк отмечал, что он, "видя, что если таковые (междоусобные. – А.У.) брани не прекратятся, то и самое Киевское княжение долго простоять не может, побыв в Киеве у отца своего, пошел во Владимир; куда с собой тайно от отца своего отнес образ Богородицы, потом проименованной Владимирской, и который был принесен из Константинополя в Киев" [Щербатов, 1805, с. 242]. Не чужд взгляду на Москву как наследницу Киева и Владимира был и историк первой половины XVIII в. В.Татищев, прямо указавший в своей "Истории Российской с самых древнейших времен" (первое издание – 1768–1848) на смену русских столиц: "при Владимире (Мономахе. – А.У.) Ростов, Юрий II перенес в Суздаль, Андрей II во Владимир, Иоанн I Калита в Москву" [Татищев, т. 1, ч. 1, 1994, с. 256].

Итоги краткого экскурса в историю бытования идеи об исторической преемственности "Киев–Владимир–Москва" в XVIII–XX вв. побуждают задаться новым вопросом: а было ли представление о Северо-Восточной Руси как политическом наследнике хиреющего Юга, разделяемое историками XVIII–XX вв., лишь плодом интеллектуальных усилий русских историков эпохи Просвещения, попытками осмысления ее истории на основе западной философской и исторической мысли или его истоки следует связывать с иными, еще более глубокими и масштабными историческими явлениями?

Московская книжность XVI в. и российская историография XVIII–XIX вв.

Направление поисков истоков идей первых русских историков пронизательно наметил П. Милюков: "Когда в прошлом столетии (XVIII в. – А.У.) русская историография начала постепенно осиливать свои источники, – источники эти встретили исследователя со своим, готовым взглядом, сложившимся веками. Немудрено, что эта готовая нить, предлагавшаяся самими источниками, вела исследователя по проторенным путям и складывала для него исторические факты в те же ряды, в какие эти факты уложились в свое время в умах современников. Таким образом, исследователь воображал делать открытия, осмысливать историю; а в сущности, он шел на помочах наших философов XV и XVI столетия" [Милюков, 2002, с. 184].

Характеризуя идеологические основания соперничества Руси и Великого княжества Литовского за южные и западные русские земли, Милюков отмечал, что, согласно представленному в сочинениях московских книжников (и воспроизведенному в XVIII в.) взгляду, "царь московский имел своего предшественника в царе киевском". Результаты анализа трудов по русской истории XVIII–XIX вв. побудили Милюкова обратить внимание и на одну из ключевых "исторических аксиом" (то есть, в современном понимании – *историографических констант*) российской историографии этого времени – "идею торжества и наследственной связи московской и киевской государственной власти" [Милюков, 2002, с. 183, 177].

Обращая внимание на роль памятников московской книжности при анализе историографического процесса, Милюков оперировал суммой знаний по этому вопросу, накопленных на момент написания его книги (1897). В силу того, что в историографии тогда особое внимание уделялось теории "Москва – Третий Рим", а также "Сказанию о князьях владимирских" [Малинин, 1888; Дьяконов, 1889; Жданов, 1895], историк рассматривал комплекс именно этих сочинений в качестве потенциального источника представлений русских историков XVIII в. Но правильно ли это?

За прошедший век наука не стояла на месте. Высказанная Милюковым идея была поддержана и развита А. Горским, отметившим, что появление в исторической литературе представления о Владимире как преемнике Киева и о политическом превосходстве Владимиро-Суздальской земли восходит к памятникам московской литературы XVI в. (Посланию Спиридона-Саввы, "Сказанию о князьях владимирских" и осо-

бенно к Степенной книге) [Горский, 2004, с. 151–153], а также Н. Покровским, указавшим на возможность влияния идей Степенной книги на русских историков XVIII–начала XIX в. (Карамзина и др.) [Покровский, 2004, с. 36]. Откуда же почерпнули первые русские историки представленные в их трудах идеи о динамике русской истории?

Степенная книга и русские историки XVIII–начала XIX в.

Для того чтобы обозначить приметы идейного истока, питавшего труды русских историков XVIII–начала XIX в., необходимо обратить внимание на доступные им источники по истории России. Среди основных источников Татищева, Щербатова и Карамзина, обозначенных во введениях к их трудам, фигурируют "Несторов Временник" (и шире – русские летописи в целом), Хронограф (редакций 1512 и 1617 гг.), Степенная книга и "Синописис" [Карамзин, 1989, т. 1, с. 26; Татищев, т. 1, ч. 1, 1994, с. 84; Щербатов, 1794, с. V]. Определяя место этих памятников в процессе формирования представлений историков XVIII–начала XIX в. о средневековой Руси, необходимо отметить, что "Несторов Временник" содержит рассказ преимущественно о домонгольском периоде русской истории, основной объем "Синописиса" также посвящен этому периоду, а создатели Хронографов редакций 1512 и 1617 гг. основное внимание сосредоточили на событиях всемирной истории. Именно поэтому названные сочинения, кратко характеризую место России в мире, тем не менее не дают обобщающего взгляда на развитие русской истории. Его содержит лишь *Степенная книга*.

Важно отметить, что другие виды источников, судя по всему, не играли определяющей роли в процессе формирования основных представлений русских историков XVIII–начала XIX в. о прошлом. Среди источников мы находим сочинения иностранцев, актовый материал (начиная со Щербатова), посольскую и делопроизводственную документацию (Карамзин). Материал записок иностранцев в построениях русских историков сыграл явно вспомогательную роль. Как дополнительный источник его использовали Татищев и Карамзин (последний в своем перечне поместил иностранные источники на 13-е место [Карамзин, 1989, т. 1, с. 28]). Щербатов также указывал на большую осведомленность о положении дела в России именно отечественных источников [Щербатов, 1794, с. V]. Это побуждало историка, по его признанию, основываться на "русских летописцах". Щербатов и Карамзин привлекали и актовый материал. Однако, во-первых, он также использовался как дополнительный источник, а во-вторых, историкам XVIII–начала XIX в. было известно крайне незначительное число актов (в основном, духовные и договорные грамоты московских князей, опубликованные в "Древней Российской Вифлиотике"). Массовое привлечение актового материала, которое могло бы поколебать летописную картину прошлого, стало возможным лишь не ранее второй четверти XIX в., когда начали выходить в свет масштабные публикации актовых источников – "Собрание государственных грамот и договоров" (1813–1828, 1894 гг.), "Акты юридические" (1838 г.), "Акты юридического быта" (1857–1884 гг.), "Акты Археографической Экспедиции" (1835–1838 гг.), "Акты исторические" (1841–1843 гг.), "Дополнения к актам историческим" (1846–1875 гг.), "Акты Западной России" (1846–1853 гг.) и др. Разрядные книги, писцовые описания, делопроизводственная документация, а также основная масса агиографического материала были изданы еще позднее. Сказанное выше справедливо и для археологического материала.

Таким образом, конструируя историю России по XVI в. включительно, Татищев, Щербатов и Карамзин были вынуждены полагаться прежде всего на материал ряда памятников летописания и Степенную книгу. При этом необходимо еще раз отметить, что только Степенная книга содержала *целостный взгляд* на русскую историю.

"Книга Степенная царского родословия" представляет собой историческое сочинение, повествующее о русской истории с древнейших времен до начала 1560-х гг. Памятник создавался, по-видимому, в предопричный период на рубеже 1550–1560-х гг. ближайшим сотрудником митрополита Макария – протопопом московского Благовещенского собора духовником Ивана IV Андреем (впоследствии митрополит Афона-

сий) по поручению Макария [Усачев, 2005, с. 28–40]. Автор "Степенной" отказался от изложения материала в традиционной для русского летописания форме погодных записей. В основу группировки материала им положен генеалогический принцип. Произведение состоит из Жития Ольги (служащего своего рода введением к нему) и 17 "степеней", то есть частей, каждая из которых повествует об одном из русских князей – предков Ивана Грозного, начиная с Владимира Святославича (17-я степень посвящена времени правления Ивана IV). Степени подразделяются на главы, самые крупные из которых, в свою очередь, делятся на титулы. Отказ от летописной манеры изложения материала в Степенной книге, попытки проблематизации материала ее автором, а также ее "биографизм" традиционно рассматривались историками как проявление новаторских принципов в историописании, характерных для историографии Нового времени [Орлов, 1912, с. 19; Лихачев, 1947, с. 362, 423; Сахаров, 1977, с. 139–144].

Степенная книга впервые вводит в историописание тему преемственности столиц. В повествовании о Юрии Долгоруком (5 глава 5 "степени") указывается: "христолюбивый же великий князь Георгий, аще и благостройно державьствова въ Киеве, но обаче киевское господоначальство оттоле и со благодатию уступаше тогда на градъ Владимиръ, последи же отъ Владимира на Москву". В 3 главе 6 "степени", сообщая об усобицах второй половины XII в., книжник отмечает, что со времени Андрея Боголюбского "киевстии велиции князи подручни бяху владимерскимъ самодержцемъ" [Книга... 1908, с. 192, 222]. Зримым воплощением трансляции власти ("самодержства") над русскими землями из одного города в другой, согласно Степенной книге, служило перенесение Владимирской богородичной иконы сначала из Киева во Владимир, а затем в Москву, что вполне определенно намечало линию преемственности политических центров [Книга... 1908, с. 192; Книга... 1913, с. 433–438].

К числу памятников московской книжности, отстаивающих преемство московских князей владимирским и киевским, также относится "Сказание о князьях владимирских", созданное, по всей видимости, в первой четверти XVI в. В историографии уже отмечалось использование "Сказания" в Степенной книге [Жданов, 1895, с. 92; Рубинштейн, 1941, с. 33]. Однако надо учесть, что "Сказание" содержит лишь легенду о происхождении русских князей от "сродника" римского императора Августа Пруса, а также рассказ о дарах киевскому князю Владимиру Мономаху от византийского императора. Необходимо подчеркнуть, что непосредственное возведение Московского царства к Владимирскому великому княжеству и Древнерусскому государству в "Сказании" *отсутствует* [Горский, 2004, с. 152]. Этот памятник, созданный в эпоху соперничества Российского государства и Великого княжества Литовского, акцентирует генеалогические аргументы, отстаивающие большую древность и знатность династии московских государей по отношению к правителям Литвы и Польши [Дмитриева, 1955]. Масштабной интерпретации русской истории в "Сказании" нет.

Именно поэтому, при всем значении "Сказания" как памятника московской публицистики, его нельзя расценивать как потенциальный источник представления о преемстве Москвы Киеву и Владимиру в отечественной историографии. В Степенной книге, напротив, наряду с генеалогической составляющей преемственности Москвы Киеву содержится и указание на преемство московской "державы" киевской [Книга... 1908, с. 192, 222]. В более ранних памятниках древнерусской книжности рассматриваемое представление не фиксируется.

При рассмотрении вопроса о влиянии Степенной книги на последующие памятники исторической мысли необходимо отметить, что и до появления первого печатного издания Г. Миллера (1775) ее текст был хорошо известен представителям российской интеллектуальной элиты. Весьма популярна Степенная книга в XVII в. Привлекательность представленной в ней интерпретации русской истории была столь велика, что в середине этого столетия создали специальное ведомство – Записной приказ (1657–1659 гг.), которому поручили фактически продолжить создание текста памятника ("записывать степени и грани царственные") [Черепнин, 1945, с. 109–110]. Несколько лет спустя "Степенная" стала основой "Истории о царях и великих князьях земли Рус-

ской" Ф. Грибоедова. В последней трети XVII в. материалы Степенной книги были привлечены для составления "Синописа" и "Скифской истории". К этому же столетию относится оформление новой редакции памятника – Латухинской; в первой четверти XVIII в. создается редакция И.Юрьева, а в первой половине этого же столетия – Трегубовская [Сиренов, 2005]. На востребованность Степенной книги в XVII–XVIII вв. указывает ее богатая рукописная традиция – сохранилось около 130 списков памятника этого времени, распространенных среди самых различных слоев населения. Так, материал памятника в XVIII в. использовали Ф. Поликарпов при составлении своей "Истории" и М. Ломоносов; списки "Степенной" содержались в библиотеках Феофана Прокоповича [Моисеева, 1980, с. 24, 33, 202–203, 50] и Татищева [Сиренов, 2002, с. 112–118]. Есть основания полагать, что в первой трети XVIII в. готовилось издание текста памятника приглашенным на русскую службу немецким филологом И. Паусом [Винтер, 1959, с. 321; Моисеева, 1980, с. 36–40]. Все это побуждает думать, что появление Степенной книги в числе важнейших источников русских историков XVIII–начала XIX в. не случайно.

Если верно высказанное предположение о влиянии схемы, представленной в Степенной книге, на построения историков, вполне правомерен вопрос: имеются ли дополнительные данные (кроме анализируемого представления о преемстве Москвы Владимиру и Киеву), которые могут подтвердить идею о связи сочинений средневекового книжника и мыслителей Нового времени, об их сквозной пронизанности одной интеллектуальной нитью? В литературе обращалось внимание на родство идей труда Татищева с сочинениями московских книжников [Пештич, 1965, ч. 2, с. 141, 156]. Зависимость "Истории Российской" Щербатова от памятников московской книжности неоднократно отмечалась в историографии [Очерки... 1955, с. 209; Рубинштейн, 1941, с. 131–132; Шанский, 1996, с. 51]. Так, Н. Рубинштейн отметил, что "для Щербатова Степенная книга была привлекательна... наличием той готовой исторической схемы, которой не хватало самому Щербатову" [Рубинштейн, 1941, с. 126].

Немалое влияние Степенная книга оказала и на историко-политическую концепцию Карамзина. В ней представлены итоги поисков историком разумных оснований общественной жизни в прошлом и настоящем. Они помещены в его знаменитой "Записке о Древней и Новой России". В ней Карамзин четко представил вектор развития русской истории: после распада некогда могущественной Киевской Руси, Русская земля утратила "могущество и благоденствие народа"; лишь в результате проведения мудрой политики московскими государями Русь была вновь объединена. Квинтэссенция историко-политической концепции Карамзина – его слова о том, что "Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием". Это вполне естественно подводило историка к мысли о том, что "самодержавие есть палладиум России; целостность его необходима для ее счастья..." [Карамзин, 1991, с. 17–18, 22, 105].

Созвучен высказанному в "Записке" взгляду и текст "Истории" Карамзина, где роль центров Древней Руси в отечественной истории трактовалась так: "Новгород знаменит бывшей в нем колыбелью монархии, Киев купелью христианства для россиян; но в Москве спаслись отечество и вера" [Карамзин, 1992, т. 4, с. 129–130]. Любопытно, что данная оценка фактически воспроизводит в концентрированном виде схему русской истории, появившуюся в Степенной книге. Там, повествуя о приходе Рюрика в Новгород, книжник обращает внимание читателя на "преобразование" им "скипетродержания" на Руси [Книга... 1908, с. 61]. Центральное место в описании древнерусской истории в Степенной книге занимает рассказ о Крещении Руси Владимиром – именно в этом контексте Киев автором памятника поименован "матерью городов русских" [Книга... 1908, с. 107]. Вполне однозначно в "Степенной" трактуется и роль Москвы и ее правителей как спасителей страны и православия от "поганных" (татар, "немцев" и др.). Особенно рельефно эта идея представлена в помещенном в Степенной "Сказании о Владимирской богородичной иконе". Согласно данной версии, именно Богородица и ее иконописный образ спасли Москву от многих бед (поход Тамерлана на Русь

и т.д.), содействуя московским государям во всех их начинаниях [Книга... 1913, с. 429]. Зависимость структуры и оформления "Истории" Карамзина от "Степенной" уже отмечалась в историографии. Так, ее главы "отвечают великим княжениям; взятое из Степенной книги, это деление перешло целиком к Карамзину и впоследствии сохранило значительную устойчивость в исторической литературе" [Рубинштейн, 1941, с. 183].

Отмеченные выше случаи явной зависимости русских "Историй" Татищева, Щербатова и Карамзина от Степенной книги побуждают задаться вопросом: почему их авторы, которые по общему мнению в теоретико-методологических вопросах ориентировались на европейских мыслителей XVII–XVIII вв. [Милуков, 2002, с. 41–42, 52–53; Рубинштейн, 1941, с. 71–72, 121–123, 168–170; Пештич, 1965, ч. 2, с. 66–123; Шанский, 1996, с. 43; Юхт, 2000, с. 18; Толочко, 2005, с. 382–422], настойчиво воспроизводили схему, представленную в памятнике средневековой историографии?

Западная философская мысль XVII–XVIII вв. и идеи древнерусской книжности в трудах русских историков XVIII–начала XIX в.

Влияние западноевропейских мыслителей XVII–XVIII вв. на умы русских историков эпохи Просвещения бесспорно. Вместе с тем нельзя не заметить, что поиск в трудах Д. Юма, К. Вольфа, С. Пуффендорфа, Ш. Монтескье, Вольтера и других истоков многих идей, характерных для их "Историй", результатов не дает. Рассмотрение трудов Татищева, Щербатова и Карамзина убеждает в том, что сочинения европейских философов, историков и юристов XVII–XVIII вв., специально не занимавшихся историей нашей страны, могли только сообщить им теоретико-методологический "импульс", оставляя свободу действий относительно трактовки событий истории России. Отечественные историки использовали интеллектуальный багаж западноевропейских мыслителей преимущественно во вводных частях своих работ, для формулировки общих замечаний относительно назначения труда историка, особенностей и методов его работы. Тем самым обосновывались историографические новации [Рубинштейн, 1941, с. 127; Очерки... 1955, с. 183; Юхт, 2000, с. 18]. Принципы, провозглашенные в начале своих трудов, русские историки века Просвещения конкретизировали и использовали также в своих порой весьма объемных примечаниях, нередко служивших комментариями к текстам источников [Рубинштейн, 1941, с. 175–177; Пештич, 1961, ч. 1, с. 222–262].

Основной нарратив "Историй" меньше определялся теоретическими принципами, он, скорее, воспроизводил фрагменты соответствующих источников (разумеется, в литературной обработке XVIII–первой четверти XIX в.) или их пересказ. Это во многом обуславливалось особенностью историографической ситуации того времени. Тогда лишь начинали предприниматься попытки «написать "полную" историю России, "с древнейших времен" и до эпохи повествователя» [Шанский, 1996, с. 51].

Взявшись за написание обобщающих трудов по истории России и располагая теоретико-методологическим инструментарием, предоставленным европейской философией Нового времени, историки XVIII–начала XIX в. тем не менее нуждались в "путеводной нити" при подходе к конкретному историческому материалу и, особенно, при его группировке и подаче читателю. Судя по всему, именно поэтому первые русские историки не удержались от соблазна воспользоваться материалом памятника средневековой историографии, который, будучи четко структурирован, содержал ясную периодизацию истории (по правлениям правителей) и намечал вполне определенный вектор развития русской истории, воплощенный в преемственности "Киев–Владимир–Москва". Очевидно, именно этим обстоятельством и обуславливается воспроизведение в трудах историков схем ("готового взгляда", по меткому замечанию Милукова), представленных в их средневековых источниках.

Немаловажное значение играла и специфика восприятия источников первыми русскими историками. Разбирая в примечаниях к основному тексту "Историй" разные их версии, описывающие то или иное известие, историки рассматривали интерпретации

книжников как бесстрастный рассказ о прошлом, хотя подчас и неполный, содержащий ошибки, допущенные при переписке [Татищев, т. 1, ч. 1, 1994, с. 82; Карамзин, 1989, т. 1, с. 24–25]. Именно поэтому основной задачей историка при изучении нарративных источников стало "очищение" текстов от позднейших наслоений и ошибок – в качестве цели их источниковедческого исследования со времен А. Шлецера мыслился возврат к "подлинному", изначальному тексту, а не изучение исторического сочинения как памятника историографии. В немалой степени поэтому получили среди первых русских историков широкое распространение представления о бесстрастном летописце, повествующем о прошлом, "добру и злу внимая равнодушно". Подобный взгляд был поколеблен лишь в конце XIX в. тезисом А. Шахматова о том, что "рукой летописца управляли политические страсти и мирские интересы" [Шахматов, 2003, с. 537–538].

Специфика восприятия труда древнерусского книжника первыми русскими историками, по всей видимости, и привела к тому, что памятники исторической мысли средневековой Руси расценивались в XVIII–начале XIX в. не в качестве явлений историографии, а как источники, более или менее адекватно "отражающие" происходившие события. Это, в свою очередь, закончилось тем, что первые русские историки оказались *во власти интерпретаций* своих предшественников. Итоги рассмотрения ряда трудов их последователей в XIX в., вооруженных иным (гегельянским, а позднее позитивистским) теоретико-методологическим инструментарием, активно использующих источниковедческую критику, оперирующих гораздо более богатым и разнообразным источниковым материалом, побуждают усматривать и в них влияние схем, утвердившихся в трудах историков XVIII–начала XIX в. Критикуя Татищева за библиографическую неряшливость и доверие к "баснословным" известиям, морализаторский тон Щербатова и идеализирующий биографизм Карамзина, историки-профессионалы XIX в., а вслед за ними и их последователи в XX в. восприняли целый ряд идей историков XVIII–начала XIX в., уходящих корнями в представления московского книжника XVI в. При этом надо подчеркнуть, что в рамках *каждой* историографической традиции идея о преемстве Москвы Владимиру и Киеву помещалась в различные познавательные и идеологические контексты, нередко наполнялась новым содержанием.

В условиях политического соперничества правителей Московского царства и Великого княжества Литовского за южные и западные русские земли книжников XVI в. прежде всего интересовала генеалогическая составляющая этой преемственности, а также ее политические (по преимуществу, внешнеполитические) следствия [Ерусалимский, 2005]. Это и обуславливало интерес с генеалогии (вспомним и название рассмотренного выше памятника московской историографии времени Ивана Грозного – Книга Степенная *царского родословия*). Историки XVIII–первой четверти XIX в., исповедуя ряд принципов европейского Просвещения, в частности представление о возможности разумного построения общества, уделили особое внимание поиску исторических причин становления российского самодержавия, стремясь в древнерусском зеркале отыскать знакомые им черты. В рамках преемственности "Киев–Владимир–Москва" они пытались найти ответ на вопрос о жизнеспособности самодержавия ("палладиума" русской истории) в условиях раздробленности и Смуты. Именно поэтому историков того времени интересовало в первую очередь, когда и какой именно из центров был средоточием политической власти над Русью.

В рамках подпитывавшегося сначала гегельянством, а позднее позитивизмом историко-юридического направления в российской историографии XIX в., внимание переместилось на социально-политические аспекты данной преемственности – на переход родовых отношений (господствовавших в Южной Руси) в государственные (получившие широкое распространение на Северо-Востоке). При этом основанная на гегелевской диалектике идея извечного антагонизма "старого" и "нового" (родового и государственного быта) в рамках преемственности Владимира Киеву обрела вполне отчетливое географическое выражение. Она помогла придать образу Юга Руси регрессивные социально-политические черты, а Северо-Востока – прогрессивные.

После возврата в 1940–1950-е гг. к "великодержавным" идеям и оценкам дореволюционной историографии советские историки вслед за своими предшественниками продолжили отстаивание идеи преемственности Московского государства Древнерусскому. При этом данное представление было дополнено новой, этнокультурной составляющей, что позволяло рассматривать Древнюю Русь как "колыбель трех братских народов". Идея преемственности "Киев–Владимир–Москва" также была дополнена еще более важной формационной составляющей. Политическая власть Киева над Русью была соотнесена с раннефеодальным периодом; доминирование Владимира – с периодом зрелого феодализма, сопровождавшегося характерной для него раздробленностью; период усиления Москвы и образование Российского государства – с поздним феодализмом и началом Нового времени, для которого, согласно формационной теории, было характерно образование национальных централизованных государств.

Однако, видоизменяя и модернизируя рассматриваемое представление, подчас наполняя его новым содержанием, историки не подвергали сомнению его "ядро" – идею преемственности Москвы и Владимира Киеву. Историографическое "ядро" рассмотренного представления, обрастая "защитным поясом" (если следовать терминологии И. Лакатоса [Лакатос, 1995, с. 135–154]), то есть различных видоизменяемых построений русских историков, сохранялось в неизменном виде в течение столетий.

* * *

Итоги ретроспективного анализа трудов по русской истории XVI–XX вв. позволяют утверждать, что с середины XVI в. в российском историографическом пространстве начинает циркулировать ряд идей (включая и рассмотренное в настоящей работе представление о преемстве Москвы Владимиру и Киеву), которые характерны для трудов большинства российских историков независимо от их теоретико-методологической позиции. Из сочинений московских книжников они перешли в памятники историографии XVII в., затем в "Истории" XVIII–начала XIX в., а также в труды историков XIX–XX вв. Это, в свою очередь, побуждает раздвинуть хронологические рамки *Большого времени* отечественной историографии и рассматривать середину XVI в. как его начальный этап. Учитывая то, что обозначенная выше константа российской историографии впервые фиксируется в памятнике исторической мысли этого столетия (Степенная книга), время господства возводимых к нему идей можно определить как "*долгий XVI век*" российской историографии. Как нетрудно заметить, хронологически начало ее *longue durée* совпадает с началом Нового времени в Европе и, по всей видимости, в России. Таким образом, опуская вопрос о наступлении этого периода в социально-политической и экономической сферах русской истории, полагаю, что Новое время в российскую историографию приходит в середине XVI столетия.

Ограниченность представленной модели развития российской историографии очевидна. Так, специально мною рассмотрены лишь некоторые обобщающие труды ряда историков XVIII–XX вв. Недостаточное внимание в работе уделено их теоретико-методологическим основаниям. Использование методики *case studies* имеет следствием отсутствие тотального разбора привлеченных сочинений – в настоящей работе особое внимание уделено лишь *одной* историографической константе. Специфика данного подхода к историографическому материалу фиксирует внимание прежде всего на историописании, восходящем ко времени не ранее XVI в. Все это позволяет очертить *пределы объяснительной способности* представленной выше конструкции. Она может быть распространена прежде всего на обобщающие труды ряда русских историков XVIII–XX вв. по русской истории по XVI в. включительно.

Насколько жестки пределы объяснительной способности данной модели? Проницаемы ли границы *Большого времени* российской историографии? Могут ли они вместить в себя историографический материал, оказавшийся на периферии моего внимания? Ответ на эти и другие вопросы могут дать лишь итоги последующего изучения констант российской историографии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Винтер Э. И.В. Паус о своей деятельности в качестве филолога и историка (1732) // XVIII век. Сб. 4. М.–Л., 1959.
- Горский А.А. Русь: от славянского Расселения до Московского царства. М., 2004.
- Дмитриева Р.П. Сказание о князьях Владимирских. М.–Л., 1955.
- Дьяконов М.А. Власть московских государей: очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI в. СПб., 1889.
- Ерусалимский К.Ю. История на посольской службе: дипломатия и память в России XVI в. М., 2005.
- Жданов И.Н. Русский былевой эпос (Исследования и материалы). СПб., 1895.
- Карамзин Н.М. Записка о Древней и Новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991.
- Карамзин Н.М. История государства Российского. В 5 т. М., 1989–1993.
- Ключевский В.О. Русская история: полный курс лекций. В 3 кн. Кн. 1. М., 1993.
- Книга Степенная царского родословия // Полн. собр. русских летописей. Т. 21. 1-я половина. СПб., 1908; Т. 21. 2-я половина. СПб., 1913.
- Лакатос И. Методология научно-исследовательских программ // Вопросы философии. 1995. № 4.
- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
- Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.–Л., 1947.
- Малинин В.Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послание к царю и великому князю Ивану Васильевичу // Труды Киевской Духовной Академии. 1888. № 5.
- Милуков П.Н. Очерки истории исторической науки. М., 2002.
- Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII в. Л., 1980.
- Орлов А.С. Великорусская историческая литература XVI века: конспект лекций, читанных в И.М.У. в 1911–12 ак. году. М., 1912.
- Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 1. М., 1955.
- Очерки истории СССР. Период феодализма. IX–XV вв. В 2 ч. М., 1953.
- Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М., 1982.
- Пешич С.Л. Русская историография XVIII в. В 2 ч. Л., 1961–1965.
- Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Ростов-н/Д, 1997.
- Покровский М.Н. Избр. произв. В 4 кн. Кн. 3. М., 1967.
- Покровский Н.Н. Исторические постулаты Степенной книги царского родословия // Исторические источники и литературные памятники XVI–XX вв.: развитие традиций. Новосибирск, 2004.
- Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941.
- Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1993.
- Сахаров А.М. Исторические знания // Очерки культуры XVI в. В 2 ч. Ч. 2. М., 1977.
- Сиренов А.В. Поздние редакции Степенной книги // Археограф. ежег. за 2004 г. М., 2005.
- Сиренов А.В. Степенная книга из собрания В.Н. Татищева // Маврод. чтения. СПб., 2002.
- Соловьев С.М. Соч. В 18 кн. Кн. 1. М., 1988.
- Татищев В.Н. Собр. соч. В 8 т. М., 1994–1996.
- Толочко А.П. “История Российская” Василия Татищева. М.–Киев, 2005.
- Усачев А.С. *Longue durée* российской историографии // ОНС. 2002. № 2.
- Усачев А.С. Историографические константы в русской исторической мысли // История мысли. Русская мыслительная традиция. Вып. 2. М., 2003.
- Усачев А.С. К вопросу о датировке Степенной книги // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 4(22).
- Усачев А.С. Образ царя в средневековой Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 3(5).
- Череннин Л.В. “Смута” в историографии XVII в. // Исторические записки. Т. 14. М., 1945.
- Шанский Д.Н. Что должно историку: Михаил Михайлович Щербатов и Иван Никитич Болтин // Историки России. XVIII–начало XX в. М., 1996.
- Шахматов А.А. История русского летописания. Т. 1. Кн. 2. СПб., 2003.
- Щербатов М.М. История Российская от древнейших времен. Т. 1. СПб., 1794; Т. 2. СПб., 1805.
- Юхт А.И. Василий Никитич Татищев // Портреты историков: время и судьбы. В 2 т. Т. 1. Иерусалим, 2000.